

Телеграмма с того света

...Мир вокруг меня был объят серой пеленой, и я знал твердо, что за дымно клубящимся сводом — сон. А здесь, внутри бесплотного шатра, за которым плыла нереальность, — здесь была явь. Был гладкоструганый сосновый стол, тонкий чайный стакан, над которым я постепенно сдвигал дрожащие от напряжения ладони, — и стакан оживал, еле заметно начинал двигаться, и, когда ток крови с ревом зашумел во мне, стакан оторвался от стола и повис в воздухе...

Стакан висел, удерживаемый только моей волей, и ощущение необычайного счастья, чувство огромной внутренней силы затопило меня, я вспомнил название, имя этой силы, и закричал освобожденно — телекинез!!! — и стакан ерзливо выскользнул из моих разомкнутых ладоней и с пронзительным звоном полетел вниз, разлетаясь на куски дребезга еще до того, как ударился об пол и выбросил меня из моего отчетливого убежища яви в мутную облачность сна, и только непрерывный звон сопровождал меня на всем долгом пути, пока я плыл наверх через бесконечную толщу видений из своего затопленного батискафа яви, где я владел волшебной силой телекинеза...

И, не открывая глаз, чтобы не разрушить в себе это ощущение необычайного дара, а только оторваться от назойливо звенящей цепи сна, я поднял телефонную трубку и сказал шепотом:

— Слушаю...

В трубке засипело, чавкнуло, и далекий, измятый помехами голос вполз в ухо настырно и щекотно, как муравей:

— Тихонов? Это ты, Стас? Стас, это ты? Это Лариса с тобой говорит...

— Кто? Какая Лариса?

— Лариса! Коростылева! Николая Ивановича дочь... — И сквозь треск и писк в проводах, сквозь скрипучий шорох мембраны я услышал плач.

— Откуда ты? Что случилось? Алло, ты меня слышишь?

— Я из Рузаева... Папа умер... Прошу тебя... — И снова плач, издерганный помехами, стер все слова.

— От чего? Почему умер? — растерянно и бессмысленно спросил я, как будто сейчас имело значение, от чего мог умереть человек семидесяти трех лет.

— Инфаркт... Его убили... Приезжай, если можешь, приезжай обязательно...

Забились, забубнили в трубке гудки отбоя — разрыв связи, конец разговора, окончательно лопнула истончившаяся нить моего сна, и я понял: старик Коростылев умер — и сердце сжалось тревожно и больно.

И горечь от потери одного из немногих дорогих мне людей еще не проникла глубоко, она плавала на поверхности сознания желтой пеной досады, острой раздраженности на прерванный неповторимый сон, на дурную весть спозаранку, на то, что субботнее утро покоя и отдыха сразу же затянулось грозной пеленой неприятности и испуга.

Я не ощутил потери. Я еще не проснулся. Я не понял, что старик Коростылев умер. Я еще жил в своем волшебном сне, твердо зная, что обладаю сверхъестественной силой двигать и поднимать любые предметы энергией своей души, мощью взгляда, напряжением ума. Я еще был наделен гипнотической властью телекинеза.

И потому сознание мое не принимало мысль о смерти Коростылева, оно выталкивало на поверхность и гнало к периферии чувствования нелепую идею о том, что мог умереть человек — несмотря на мое удивительное могущество, — человек, который четверть века заменял мне отца, был старшим

братом, воспитателем, душевным товарищем, советчиком, беззащитным старым подопечным...

Встал и пошел на кухню, ощущая своими вялыми ступнями горожанина охлаждающую гладкость паркетных клепок. И утро за окном было как этот паркет — бесцветно-чистое, прохладное, лакированно-гладкое. Неуверенное московское лето, жидкий голубой ситец над головой, мгновенно промокающий серым дождем.

Пустил из крана холодную воду и долго пил жадными глотками, будто израсходованная в телекинезе энергия иссушила меня до костей. А водопроводная труба надо мной гудела в это время низко и печально, как фагот.

Потом включил электроплиту, насыпал в турку коричневый крошащийся порошок кофе, плеснул воды, поставил на конфорку и уселся на табурет — в полном безмыслии, законченном безмолвии чувств, — я просто ждал, когда сварится кофе, и тупо обитал в своем противном настроении.

Скрипнула дверь, и появилась Галя, со сна пухло-розовая и примятая складочками, как зефир.

— Кто это тебя поднял ни свет ни заря? — спросила она.

— Дочь моего приятеля...

— А что она хотела?

— Сообщить, что он умер...

— Ой-ей-ей! Какое несчастье! — готовно огорчилась Галя.

Она всегда была готова вместе со мной огорчиться или порадоваться. Галя готовила себя в спутницы моей жизни, и по ее представлениям спутница жизни должна жить в эмоциональном резонансе со своим избранником. Время от времени она в безличных оборотах сообщала мне, что все несостоявшиеся или распавшиеся браки были нежизнеспособны из-за неумения или нежелания людей сопереживать друг другу. А Галя это умела. За нас двоих.

— Какое несчастье... — повторила Галя на полтона спокойнее и на октаву печальнее, не обнаружив ответа на свою реакцию сопереживания. Она мне хотела морально помочь, она была готова искренне огорчиться по поводу смерти неведомого ей моего приятеля, но из-за просоночной зефирной пухлости она мне была неприятна.



— Вы вместе работали? — озабоченно спросила Галя.  
— Нет. Он был моим учителем...  
— Учителем? — удивилась Галя. — Ты дружил со своим учителем?

— Да, я дружил со своим учителем. Тебя это удивляет?  
— Нет, вообще-то, я могу себе это представить... Но это так редко случается...

— Наверное... Да и люди такие, как Коростылев, редко случаются...

— И вы с ним регулярно общались?

— Нет, не регулярно. Несколько лет назад он уехал из Москвы...

— Почему?

— Это мне тебе объяснить трудно...

— Почему же трудно? Я что, такая непонятливая? — постепенно раздражаясь и утрачивая готовность к сопереживанию, поинтересовалась Галя.

— Нет, ты понятливая. Но Коростылева ты не знала. Он мне сказал: я хочу жить в маленьком Рузаеве, и работать там, и знать всех, чтобы каждый вечер, когда я выхожу на прогулку, со мной здоровалась вся улица...

— Странная амбиция...

— Это не амбиция — ты просто Коростылева не знала.

— Он что, был чудак?

— Может быть, это и называется — чудак. Мудрый веселый старик...

— А она тебе не сказала, от чего он умер?

— От инфаркта, — ответил я, и в памяти резко, толчком вдруг всплыл раздерганный треском и расстоянием голос Ларисы: «...его убили...»

Как это — убили? За что? Каким образом? Он же умер от инфаркта...

«Приезжай... если можешь, приезжай обязательно...»

Убили? Что за чепуха? Коростылев — большой старый ребенок. Детей не убивают. Но дети, к счастью, не умирают от инфаркта. Как можно убить инфарктом?

— Бедный Тихонов, — сказала Галя и погладила меня по голове. От ее руки пахло кремом «Нивея», который я ненавижу. И не люблю, когда меня гладят по голове, — я весь напрягаюсь изнутри, и по спине у меня ползут мурашки. Какая-то ужасная форма добровольного рабства — я не могу собраться с духом и сказать Гале, что мне не нужно ее сопереживание, что я ничего не могу дать взамен ее любви, преданности, готовности понимать меня и стряпать для меня, что я от всей души желаю ей счастья, но как-нибудь отдельно от меня.

Как объяснить ей, что мы очень разные люди? И я не могу заплатить всей жизнью за то, что она меня когда-то любила. Надо бы ей сказать, что нельзя требовать за свою любовь такой большой платы. Но мне даже не приходит в голову, как начать такой разговор — ведь он наверняка требует какого-то сильного повода, грубой ссоры, скандала. А вот так, ни с того ни с сего сказать: «Давай, подруга, разойдемся!» — язык не поворачивается.

Интересно, как поступил бы на моем месте Коростылев, что сказал бы он Гале? Или ничего не говорил бы, а молча терпел? Правда, Коростылев, скорее всего, и не мог оказаться в таком положении. Он был из числа тех счастливых неудачников, которых женщины оставляют первыми. Когда от него ушла жена — мать Ларки, — он сказал мне с печальным смешком:

— Она, Августина Сергеевна, конечно и безусловно права. Что поделаешь? С точки зрения общих представлений о людях — я человек вполне дураковатый... Жить с таким трудно... Особенно стыдно перед соседями...

И левый, искусственный глаз блестел неуместно ярко, а правый, живой, моргал растерянно и грустно.

Мне было тогда немного жалко Коростылева, но сопереживание мое было похоже на Галино — я досадовал, что такой потрясающий человек, как Кольяныч, огорчен из-за ухода никому не нужной крикливой и некрасивой женщины. Ушла и ушла, бог с ней, всем от этого будет лучше и спокойней. Жизнерадостный юношеский эгоизм не допускал мысли, что у Кольяныча может быть иной взгляд на Августину...

Я смотрел на медленно поднимающуюся кофейную пенку, думал о Коростылеве и удивлялся неподвижности своей души: я почему-то совсем не испытывал уместной в таком случае скорби, а только тяжелое глинистое оцепенение сковывало меня полностью. Меня пугала мысль встать сейчас, одеться, уехать на вокзал, три часа трястись в электричке, потом еще на автобусе, спуститься с горы к покосившемуся домику, густо заросшему кустами бирючины и ракитника, распахнуть калитку и узнать, что Кольяныча нет дома. Навсегда. Ушел дед.

А когда последний раз провожал меня на автобусной станции, выглядел он совсем плохо, и я предложил устроить его в Москве в хорошую клинику. А он засмеялся своим булькающим тихим смехом, обнял за плечи, наклонился ко мне — дед был длинный, в нем была прекрасная тощая нескладность ламанчского бродяги — и сказал:

— Когда человек перестает бояться смерти — врачи ему не помощники...

Я покачал головой:

— Не выдумывай, Кольяныч, смерти все боятся...

— Наверное, сынок. Только в старости ожидание смерти утрачивает унизительный вкус страха, и остается лишь высокое огорчение оттого, что жизнь истекает...

Вот и истекла его жизнь. А мне остался унизительный вкус страха и горечи.

Галя сказала с искренней болью:

— Ну что ты все молчишь? Скажи хоть что-нибудь!..

— А что мне говорить? Человек должен говорить, когда молчать неумоготу...

Она сердито дернула плечом:

— Ты, конечно, поедешь туда?

— Конечно.

Потом вспомнила о своем долге сопереживать мне и, преодолев раздражение, вызванное крушением всех субботних планов, спросила:

— Чем я тебе могу быть полезна?

— Налей, пожалуйста, кофе...



Горячей воды в душе не было — обычная хамская привычка ЖЭКа выключать летом воду без всякого предупреждения. А может быть, зря я злоблюсь на них, может, и висело в подъезде объявление. Когда я возвращаюсь с работы, мне уже не до жэковских известий. И холодный душ не взбодрил, лениво и зябко поливал он меня, как когда-то, очень давно, поливал дождь у школьного подъезда, где отловил меня за шиворот новый учитель Коростылев Николай Иванович, которого, впрочем, ребята уже успели прозвать Кольянычем, устрашающего вида мужчина с ярко-синим глазным протезом и пустым рукавом пиджака, аккуратно загнутым у локтя и пришпиленным под мышкой желтой английской булавкой.

— Ну-ка, боец, поведай, чего ты тут делаешь? Что привело?

— Ничего, — ответил я искренне, потому что по сей день не понимаю, что привело меня после целого дня затравленного блуждания по городу к дверям опустевшей школы: может быть, больше деваться некуда было.

— Это я вижу, — засмеялся Кольяныч своим булькающим смехом. — Меня интересует, почему ты стоишь мокрый около школы, а не сидишь сухой в своем доме?..

— Не могу. У меня деньги на пальто украли. Мать убьет...

— Ну уж прям-таки убьет, — обескураженно заметил Кольяныч. — Отец заступится...

— У меня нет отца, у меня отчим.

— А отчим не заступится?

— Если выпимши — заступится. А если трезвый — вряд ли...

— Кошмарную ты мне нарисовал картину. Много денег стянули?

— Триста семьдесят рублей. Вся материна получка...

Ах какие это были огромные деньги — триста семьдесят старых рублей! Сроду я не держал такой громадной пачки — две длинные, как простыни, сторублевки с изображением Кремля, две зеленые полсотни, две красные тридцатки и одна серая десяточка — толстенький сверток, который я трепетно прижимал рукой снаружи кармана, стоя в очереди около промтоварного склада ОРСа — отдела рабочего снабжения



завода «Станколит». Сокровище было необозримо и лучезарно, оно, видимо, светилось сквозь жидкую ткань моей курточки, потому что вор-щипач безошибочно вырезал его в одно касание бритвой-пиской...

Кольяныч глаголем изогнулся надо мной и сообщил:

— Поскольку я не могу допустить ужаса детоубийства, придется мне отмусолить тебе из своих несметных запасов триста семьдесят рублей...

Я долго отнекивался, неуверенно отказывался, а в душе все ярче разгоралась надежда, что этот очень странный человек спасет меня от ужасного унижения. А поскольку я твердо знал, что у чужих людей денег брать нельзя, то для собственного успокоения спросил:

— А откуда же у вас несметные запасы денег?

— Остатки былого, — засмеялся Кольяныч. — Хочешь верь, а хочешь не верь — несколько лет назад я сжег восемь тонн денег... С большим трудом...

— Ско-о-о-олько?

— Восемь тонн. Пульмановский полувагон. Намучились как бобики...

— А зачем же вы сжигали деньги? — потрясенно спросил я.

— Так я со своим батальоном попал в окружение под Харьковом. А на запасных путях остался банковский вагон с деньгами, не успели вывезти. Ну не оставлять же его немцам — вот мы и жгли. А они, деньжищи эти проклятые, в пачках, как кирпичи, — не горят ни за что, да дождь в придачу хлещет...

— И вы там набрали себе несметные запасы? — с восторгом поинтересовался я.

— Нет, сынок, — снова засмеялся Коростылев. — Когда жизнь почти смыкается со смертью, деньги вообще ничего не стоят.

— Почему?

— Мне сейчас объяснить тебе это трудно, у тебя в жизни стаж коротенький, про войну, про людей, про деньги ты еще знаешь маловато. Хотя дело, конечно, не только в возрасте.

Мой солдат, Гулыга была его фамилия, набрал тогда потихоньку целый вещмешок денег. А утром мы пошли через линию фронта, и он взорвался на mine...

— Из-за того, что деньги взял?

— Может быть... Кто это точно знает?..

Кто это точно знает? Любимое присловье старика. Знак осмотрительной, настрадавшейся мудрости. Может быть, старик Кольяныч научил меня ухмыляться, когда возглашают прописные истины вроде «дружба и деньги несовместимы»? Ведь теперь, глядя в бесконечный колодец нашего с ним прошлого, я вижу на самом дне, под темной водой забвения, триста семьдесят рублей. Две сотни, две полсотни, две тридцатки и одна десяточка — триста семьдесят рубчиков, превратившиеся со временем в жалобные тридцать семь, реформированные, истаявшие, истлевшие, сгоревшие в костре убежавших лет так же бесследно, как восемь тонн деньжищ на запасных путях под Харьковом. Да и был ли этот пульмановский полувагон? Существовал ли он в природе? Кто это точно знает?

Кольяныч мог все придумать. Я и сейчас не могу разобраться, что действительно происходило в его странной жизни, а что он выдумал. Я ведь своими глазами видел у него дома завещание Колумба...

Вылез из душа, растерся полотенцем и стал быстро одеваться. Стараясь не думать о Кольяныче, я инстинктивно гнал от себя воспоминания о нем, потому что с каждой минутой во мне медленно, как алкоголь, растекалось ощущение, что больше старика нет. Тяжело ныло под ложечкой.

Я открыл секретер и достал старую, пожелтевшую фотографию — 5-й класс «Б».

На сером фотографическом картоне — три десятка школьных физиономий, помещенных в белые овалы, каждый в своем ровном вытянутом кружочке, отчего весь фотоснимок похож на стандартную сетку с польскими яйцами — только зародыш в форменной курточке и галстук ясно виден сквозь меловую муть скорлупы. В волшебном

инкубаторе времени все прошли положенный цикл развития, вылупились в жизнь нормальными курами, петухами, некоторые расправили крылья и взлетели орлами, а двое стали крокодилами.

Сейчас, рассматривая наши зародыши через микроскоп четверти века, пробежавшей с тех пор, как фотограф разместил нас в овальных скорлупках правильными рядами на картоне, я удивился тому, как ясно виден характер каждого яйца, как легко он угадывается.

Я не верю, что с годами люди сильно меняются. Мне кажется, что люди изменяются только количественно. Все уже написано было на наших физиономиях, когда «пушкарь» рассаживал нас перед своим черным ящиком на штативе.

Кольяныч был старше меня на это знание — он уже тогда предчувствовал, догадывался, понимал, из какой скорлупы вылупится маленький симпатичный кровожадный крокодилчик Генка Жижин, он ощущал, угадывал, что Сашка Греков полетит соколом, а Надя Тетерина станет доброй, заботливой курицей.

Кого же провидел во мне Кольяныч? Неужели он знал мою судьбу страуса — задумчиво-нескладной птицы, не способной летать?

Я умею бегать, таскать тяжести, я несравненный специалист по прятанию головы под крыло. Я только летать не могу.

Мне снятся волшебные сны о телекинезе.

Кольяныч, ты все это знал тогда?

Печальная штука — старые фотографии. Хуже бывают только вечера встреч бывших однокашников, сокурсников. Горделивый осмотр потерь. Из лопнувшей скорлупы глядят усталые лица, отретушированные сединой и морщинами. Генка Жижин, гладкий преуспевающий прохвост, когда я встретил его недавно, снисходительно сообщил мне, что школьные юношеские дружбы склонны поддерживать в основном люди, совсем несостоявшиеся во взрослой жизни. Не знаю, может быть, он и прав — этот залитый розовым текучим жиром натурфилософ.



Наверное, я совсем несостоявшийся во взрослой жизни человек, если я пошел в поддержании школьных дружб дальше всех: я сохранил связи не со своими одноклассниками, а со старым школьным учителем. Никогда с ровесниками мне не было так легко и интересно, как с Кольянычем...

Может быть, я еще долго рассматривал бы наши зародыши в фотоскорлупках, пытаюсь разгадать, какие нити, когда протянутые к сердцу Кольяныча, прервались с его смертью, но вошла Галя — причесанная, подкрашенная и совершенно одетая.

— Я еду с тобой, — сказала она твердо.

— Это не нужно и неуместно, — вяло ответил я.

— Проводить хорошего человека всем уместно, — заверила она меня. — Всегда. А тебе не нужно сейчас быть одному...

Господи, как же объяснить ей понятно и необидно, что мне всего нужнее побыть одному, что мне ничье сопереживание не требуется!

Но не смог ничего придумать — я ведь маэстро запрятывания головы. Только что-то неубедительное стал бормотать:

— Туда почти три часа на электричке ехать... Потом еще автобусом... Тебе лучше побыть здесь... Я вернусь вечером или завтра утром...

Галя тяжело вздохнула, неодобрительно покачала головой:

— Тебе не надо туда ехать на электричке и автобусе...

— А на чем же мне ехать? На дирижабле?

— Позвони Леше Кормилицыну — он твой школьный товарищ. И у него есть машина... Или покойный тебя одного в классе учил?

Она иногда пугает меня — когда угадывает мои мысли. Но понимает их неправильно. Как объяснить ей, что Кольяныч учил нас всех, но я с ним дружил. А Лешка над ним посмеивался. И когда Галя вошла, я разглядывал фотографию Лешки и вспоминал, как Кольяныч нас вызволял из милиции. Кошмарное, недостоверное воспоминание...

На кругу у Шукинского пляжа стоял пустой трамвай. Вагоновожатый ушел отмечать маршрутный лист, а мы с Лешкой



через открытую дверь кабины разглядывали рычаги и приборы управления. Глухо постукивал, дробно урчал электромотор, еще ощутимо дрожал реечный пол под ногами, тонко вызванивали стекла в опущенных рамах окон, под ручкой контроллера увядала пыльная ветка акации.

Лешка сказал:

— Трамвай — машина простая... Я умею водить...

— Врешь? — усомнился я.

— Примажем? — завелся Лешка.

Мы в ту пору спорили по любому поводу — «примазывали». Не помню, успели ли мы примазать, не знаю, хотел ли Лешка взять меня на понт, не понимаю, как это получилось, — Лешка бочком присел на высокую табуретку водителя, с хрустом повернул какую-то ручку — и трамвай покатился. Я это даже не сразу заметил и только через несколько мгновений испуганно заорал: «Стой, Лешка, стой, мы едем!..»

Доказав мне, что умеет пускать трамвай, Лешка, к сожалению, не мог продемонстрировать технику торможения. Трамвай медленно, но неукротимо ехал вперед. Свистки, крики, перекошенное от страха и физического напряжения лицо вагоновожатой, которая бежала за уходящим от нее трамваем. Отчетливо помню ее молодое деревенское лицо, залитое потеками пота, выбившиеся из-под косынки пряди темнорусых волос.

Неподвластная нам тяжелая громада неуправляемого вагона, волочащая нас неведомо куда, — на всю жизнь сохранившееся воспоминание о собственной ничтожности и бессилии.

Вагоновожатая все-таки догнала трамвай, вскочила на ходу, затормозила громыхающую махину, надавала нам по ушам и сдала в милицию. А Кольяныч нас оттуда потом вызволял. Не знаю, что он там говорил, как оправдывал нашу дурость, что обещал, — но нас отпустили. Он забрал нас, и в полном молчании мы поехали домой. Мы с Лешкой понуро плелись за ним следом, и вид его длинной, слегка сторбленной спины был нам невыносим, и Лешка не выдержал, жалобно попросил:

— Вы хоть изругайте нас, Николай Иваныч...

Он обернулся к нам резко и спросил:

— Изругать? А почему я должен тебя ругать? Зачем? Древней богине Иштар приписывают великую мудрость: каждый грешник должен сам отвечать за свои грехи. Вы уже оба большие парни, и не надо перекладывать на меня бремя ответа за дерзкую глупость вашего поведения...

Галя не сводила с меня требовательного взгляда, я подвинул к себе аппарат и набрал номер. Пригоршня цифр, брошенная в телефон, с тихим гудением и писком долго шныряла по проводам и внезапно обернулась в трубке быстрым, деловитым баритончиком Лешки:

— Слушаю...

— Здравствуй, Дедушка, это я, Тихонов.

— Ха! Здорово, Стас! Ты чего это спозаранку взыскался?

Судя по фотографии в белом яйце, у Лешки в детстве была копна светлых мягких волос. Но моя память этот факт не удержала — сколько его помню, Лешка всегда был лысый. Шустрый и нахальный паренек, растеряв годам к двадцати прическу, Лешка смоделировал жизнь и манеру поведения под свою лысину. Мне кажется, что еще в школе мы все звали его Дедушка. Он подтвердил свою репутацию, женившись раньше всех, родил вскоре дочку и теперь — в тридцать семь лет — имеет двух внуков. И со мной всегда говорит солидно, шутливо-снисходительно.

— Слушай, Дед, мне утром позвонили, сообщили, что Коляныч умер. Не хочешь со мной в Рузаево поехать?

— А, черт! Жалко как старика! Ужасно не ко времени...

— Ну да, конечно... А ты слышал, чтобы люди ко времени помирали?

— Случается, — коротко бормотнул он. — А сколько годков Колянычу было?

— Семьдесят три, — сказал я и поймал себя на том, что говорю это с легким смущением, будто почтенный возраст Коляныча лишил его права на дополнительное сочувствие, которое вызывают люди, умершие молодыми.

— Да, жаль Коляныча, большой души был старикан, — искренне вздохнул Лешка и неожиданно хмыкнул: — Можем

только утешаться мыслью, что сами-то мы вряд ли доживем до этих лет...

— Что-то ты, Дедушка, на половине дистанции заныл? — поинтересовался я. — По-моему, ты здоров как бык...

— Ну да, здоров! Давление скачет, сердце покальвает. Врачи говорят — реальная опасность ишемической болезни. И работа заедает — сейчас тоже сижу, квартальный отчет домой взял, на службе не поспеваю...

Ему, наверное, в зародыше фотояйца была не суждена мужская судьба — он прямо из мальчишки стал Дедушкой. Может быть, Кольяныч это знал? Неужели Кольяныч предвидел, что угнанный трамвай — последнее Лешкино озорство?

На том конце провода Лешка сострадательно чмокал губами и грустно дышал. Дедушка от души жалел Кольяныча и хотел бы сделать для него что-то хорошее, например достать лекарство, проведать в больнице, привезти продуктов, но ехать старика хоронить было действительно ему слишком сложно, и я пожалел, что послушался Галю и позвонил ему.

Трамвай со Щукинского круга укатил очень далеко. Тяжелая громада жизни сильнее нашей воли, сильнее наших побуждений. Некому догнать — с перекошенным от напряжения лицом — неуправляемую колесную коробку, некому остановить бесцельное опасное движение, некому вызволить из беды и сказать: каждый отвечает за свои грехи сам.

Я слушал Лешку и раздумывал, как бы закончить легче и безболезненнее этот разговор — я ведь ни в какой мере Дедушке не судья и совершенно не собирался корить его за сгнившую добрую память.

Но Лешка сам прервал поток жалоб на плохое самочувствие и завал работы, сказав неожиданно:

— Я вот что надумал... Мне с тобой на похороны никак не вырваться... Ну пойми меня — никак не получается... Мойто все на даче, ты ведь и меня случайно застал... Если я не приеду к ним сегодня, они там с ума посходят... Предупредить-то я никак их не могу...

— Да я не настаиваю, — перебил я его. — Что ты мне объясняешь...



— Нет-нет, ты слушай... Мы с тобой вот как поступим: я со всеми своими бебехами поеду на дачу на электричке, а тебе оставляю машину на площади у Белорусского вокзала — мы так всех зайцев убьем... И тебе там, в Рузаеве, на машине будет сподручней. Лады?

Удовольствие от найденного решения половодьем затопило необитаемый крошечный островок Лешкиной скорби. Он придумал себе вклад — не какие-то там бессмысленные цветочки, а полезное участие в добром деле проводов и поминовения хорошего человека.

— Дедушка, я ведь не из-за машины тебе позвонил... — слабо начал я возражать, но Лешка не дал мне захватить маленький плацдарм и окопаться.

— А вот разговоры — для бедных! — деловито и решительно забуркотел он, и его беспомощно-горестные вздохи бесследно исчезли из трубки. — Будь у меня возможность, я бы, безусловно, поехал. Надеюсь, в этом случае ты бы все равно поехал со мной, а не на электричке? Прошу тебя не выдуриваться...

Галя сказала над моей головой, словно подслушав:

— Твоя деликатность иногда становится людям невыносимо тягостной. Не мучай товарища — возьми машину...

Я махнул рукой, а Лешка уже объяснял мне, где будет стоять его «жигуленок» цвета «коррида», госномерной знак 08–98, что документы и ключи будут лежать под ковриком рядом с водительским сиденьем, а задняя левая дверь будет не заперта на стопорную кнопку, тумблер противоугонного устройства включается на правой панели под щитком... Технология передачи мне машины полностью захватила Лешку, он вырвался из невыносимой для него роли скорбящего свидетеля и стал деятельным, активным создателем и участником ситуации.

Он догнал катящийся трамвайный вагон, заплатил за все свое сам и прощально помахивал мне ручкой с остановки — я уезжал дальше.

— Машину сможешь забрать через час, — сообщил он мне, потом затуманился тоном, осел голосом, грустно сказал: —



Ты уж от нас от всех поклонись Кольянычу. — Помолчал и значительно добавил: — Я теперь сам дед — многое понимаю...

У меня права профессионального водителя. А собственной машины никогда не было. Жалко, конечно. Но сейчас менять что-то поздно. Раньше я не мог купить автомобиль из-за небольшой зарплаты, дефицита на машины, самых различных семейных обстоятельств, из-за занятости на работе, а теперь как-то неуместно — мне кажется, что когда человеку под сорок, то впервые обзаводиться маленькой легковушкой как-то нелепо.

Это Кольяныч виноват. Именно он меня еще в молодости сбил с оседлой, спокойной, имущественно-накопительной жизни. Мне кажется теперь, что за всю жизнь Кольяныч не имел ни одной вещи, которую согласился бы приобрести по доброй воле хоть один человек. Как-то очень исподволь внедрил он в меня даже не мысль, а ощущение, что владеть имуществом с определенной стоимостью крайне обременительно, неинтересно и по-своему невыгодно.

У него даже книг не было — всегда он впихивал их разным людям, чуть ли не силком: «Обязательно прочитайте, вам это совершенно необходимо!» Готов голову дать на отрез, что многие испытывали, скорее, неудобство от его книгоношества, ибо ни в какой мере не ощущали необходимости прочитать мемуары виконта де Брока о Великой французской революции. Я говорил ему, что попусту пропадет интересная книжка, а Кольяныч ухмылялся, и в правом глазу его была печаль, а левый, вставной, нестерпимо ярко сиял.

— Может быть, я ошибаюсь, но домашние библиотеки мне кажутся денежными кубышками. Мало кто собирает их для работы или для приятного чтения. Гутенберг и Федоров-дьяк придумали станок, чтобы книги по рукам ходили. Иначе книги суть часть пошлого интерьера или консервы человеческого духа...

И над мебельными страстями, гарнитурными страданиями он смеялся. Это было время первого взлета массового жилого строительства, множество людей въезжали в новые кварталы, и венцом бытовых вожделений была польская

или немецкая «жилая комната». На помойки выкидывали протертые, разошедшиеся, облупившиеся, прожженные сковородами и утюгами столы, кресла, буфеты — из ценного дерева, ручной резьбы, с обрывками бесценного штофа — и ввозили с гордостью и ликованием жилую низкорослую мебель из фанерованных стружечных плит.

А Кольяныч усмехался:

— Каждой вещи нужно только пережить критический период — переход из разряда «старых» в «старинные». После этого ее возвращают с помойки, бережно реставрируют, с почетом водружают в красный угол, ею хвастают и гордятся, платят большие деньги. В основном за то, что все остальные старые вещи не дожили до бесплодной почтенности старины. К счастью, люди не бывают старинными. Людям суждено умирать своевременно...

И машины он не любил. Он всюду ходил пешком.

А теперь я мчался на Лешкином «жигуленке» цвета «коррида» хоронить Кольяныча. Пружинисто гнулось под колесами шоссе, шипели с подсвистом баллоны, ровным баритончиком гудел мотор. На заднем сиденье дремала или делала вид, что спит, Галя. Я чувствовал исходящее от нее напряжение, я знал, что она хочет спросить меня о чем-то, поговорить или выяснить отношения, но сдерживается изо всех сил, полагая, что этот разговор сейчас не к месту и не ко времени. Но я точно знал, что от серьезного разговора мне не уйти. Только бы не сейчас, у меня сейчас нет сил с ней спорить, что-то объяснять или доказывать. Потом, хорошо бы потом.

Галя сзади сказала ясным голосом:

— Тебе надо было позаботиться — купить в Москве продуктов, на поминки понадобится... Наверняка люди соберутся...

Я обогнал колонну грузовиков, занял место в правом ряду, прибавил газу и неуверенно сказал:

— Возможно... В смысле продуктов... Наверное, надо было купить... Хотя Кольяныч наверняка не хотел, чтобы устраивали поминки... Да и я, если честно сказать, тоже...

## СОДЕРЖАНИЕ

ТЕЛЕГРАММА С ТОГО СВЕТА .....	5
ЧАСЫ ДЛЯ МИСТЕРА КЕЛЛИ .....	165
Я, СЛЕДОВАТЕЛЬ... ..	347

## **Вайнеры, Аркадий и Георгий**

**В 14** Я, следователь... : романы / Аркадий и Георгий Вайнеры. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2022. — 544 с. — (Азбука Premium. Русская проза).

ISBN 978-5-389-20776-9

Аркадий и Георгий Вайнеры — признанные мастера детективного жанра. В их произведениях, посвященных работе следователя уголовного розыска Станислава Тихонова, с одной стороны, всегда присутствует увлекательный, лихо закрученный сюжет, с другой — поднимаются сложные психологические и этические проблемы, без прикрас описаны будни сотрудника милиции.

Не получается у Тихонова щадить себя. Чтобы поймать преступника, действовать всегда надо стремительно, на опережение, использовать наимельчайшие зацепки, думать на несколько ходов вперед, распутывать следы, задавать вопросы множеству людей, а ведь у каждого — своя история, свой интерес. В итоге, зачастую даже речи не может идти об отдыхе, у следователя почти нет свободного времени и большие сложности с личной жизнью... Выдержать такое чудовищное напряжение может лишь человек с обостренным чувством справедливости, убежденный в том, что вору и убийце место в тюрьме. В центре непримиримых конфликтов всегда — острое противостояние интеллектов. Кто же победит?..

Все вошедшие в сборник произведения («Телеграмма с того света», «Часы для мистера Келли», «Я, следователь...») послужили основой для популярных теле- и кинофильмов.

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос-Рус)6-44



Литературно-художественное издание

АРКАДИЙ И ГЕОРГИЙ ВАЙНЕРЫ  
Я, СЛЕДОВАТЕЛЬ...

Ответственный редактор Елена Адаменко  
Художественный редактор Егор Саламашенко  
Технический редактор Татьяна Раткевич  
Компьютерная верстка Ирины Варламовой  
Корректоры Людмила Дубовая, Анна Быстрова  
Главный редактор Александр Жикаренцев

Подписано в печать 25.01.2022. Формат издания 84 × 108<sup>1/32</sup>.  
Печать офсетная. Тираж 4000 экз. Усл. печ. л. 28,56.  
Заказ № .

Знак информационной продукции  
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

16+

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —  
обладатель товарного знака АЗБУКА®  
115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, эт. 2, пом. III, ком. № 1  
Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»  
в Санкт-Петербурге  
191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А  
ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»  
Тел./факс (044) 490-99-01. E-mail: sale@machaon.kiev.ua  
Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами  
в ООО «ИПК Парето-Принт».  
170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1,  
комплекс № 3А.  
www.pareto-print.ru



A-AUP-29681-01-R